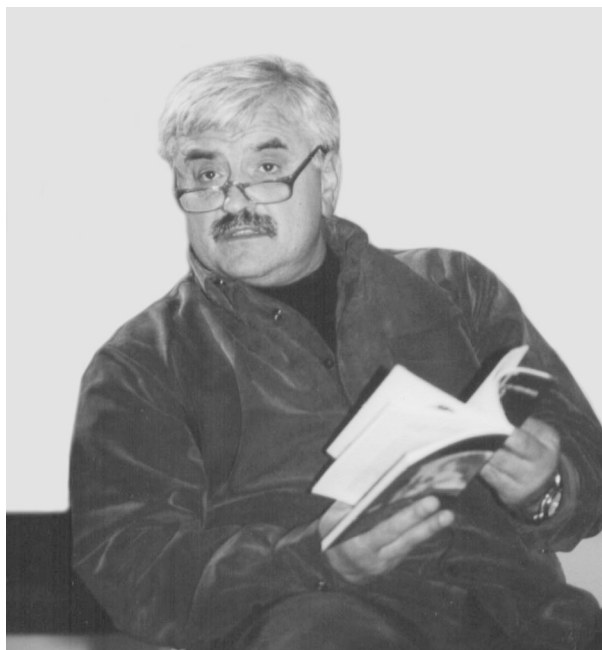


# Нет маленьких народов

проза



*Александр  
Ткаченко*

Эти два рассказа Александр Ткаченко передал нам для публикации прошлой весной. К большому сожалению, увидеть их на страницах нашего издания ему уже не суждено. Напомним, гендиректор Русского ПЕН-центра, бывший футболист и гл. редактор «Новой юности», замечательный писатель и большой друг литераторов нашей республики крымчак Александр Петрович Ткаченко ушёл из жизни в преддверии этого года на самом пике своего творческого взлёта. В рассказе «Мои первые бутсы», говоря о крымчаках, один из персонажей внушает мальчику: «Самые лучшие футболисты – это англичане – я читал, у них бойцовский характер, и они хорошо играют головой, а мы – маленький народ, невысокий, хотя бывают исключения». Наш друг умел в своём творчестве переходить от частного к общему, от слёз мальчика, что он и его народ маленькие и что у него, маленького, всё можно отобразить, к межнациональным проблемам всего человечества. Да, дорогой Александр Петрович, нет маленьких народов, и ты сам, весьма сам по себе небольшого роста, всем своим творчеством, правозащитной, общественной деятельностью с исключительной силой доказывал это.

# Мои первые бутсы

Крымчак сидел на довольно низком стуле и крепко сжимал коленями железную сапожную лапку, на которой в его левой руке вертелся женский туфель, и правой, с молотком, выравнивал каблук. В его губах шевелились мелкие гвоздики, и он время от времени доставал один из них и лихо вколачивал в потёртую кожу каблука. И что-то напевал непонятное без слов – получалась только заунывная, слышимая до конца только ему, мелодия. Он увидел меня в своей стоявшей на бугре деревянной будке, зажатой старыми сырыми небольшими домами. Эта будка и была, собственно, его мастерская. Сапожника нашей улицы, которому приносили ремонтировать обувь не только местные. Так вот, он увидел меня, кивнул головой, мол, садись и показывай, что у тебя. Я достал из свёртка почти новые ботинки с оторванными каблуками и набитыми на всю подошву кожаными шипами, как полагается у бутс – два сзади и четыре на подошве, два у носка и два наискосок: поперёк и под серединой ступни.

– Что, мать прислала?

– Да, попросила, чтобы вы починили...

– Как же ты прибывал шипы, м-м-м, прямо гвоздями насквозь, а потом загибал их внутри, м-м-м, – пел он. – Ноги поранил? Кто же так делает? И потом, чем же ты обрезал кожу, тут нужен острый сапожный нож, а под шипы фибровые пластины, их сначала размачивают в воде... А так – только портить обувь и ноги... Мать права...

Я молчал, опустив руки и голову.

– Но надо же играть...

– Я не футболист, не знаю, как надо играть, но в бутсах кое-что понимаю...

Он отодрал при мне самодельные шипы, набил каблук и новую подошву. Сделал ладно, смазав сначала воском, а потом чёрным кремом, перед этим обточив всё тонким рашпилем.

– Ну вот, ходи в школу и приходи дня через два... Я что-нибудь придумаю. Да, привет маме, с тебя два рубля...

На следующий день я с моими пацанами пошёл в соседний двор биться «на смерть» с командой улицы Далёкой. Все были в ботинках, а я в парусиновых тапочках на резиновой тонкой подошве... Надо мной все смеялись, специально наступали на ноги, и я корчился от боли. Но именно это заставило меня вертеться и не подпускать к себе тех, кто костылялся, как мы тогда говорили. К радости, и мяч я чувствовал лучше, чем в грубых ботинках. Тогда-то я понял, то играть по-настоящему может тот, кто взвешивает мяч на подъёме, поднимает его с земли без помощи рук, держит на весу и подбивает, не опуская ногу на землю... Не помню, как мы сыграли. Вечером я зашёл к крымчаку, и он спросил меня:

– А ты что, играешь на зелёном поле? Ведь только там нужны шипы.

– А для угрозы, а для жёсткости? – басовито ответил я.

– А ты не сталкивайся, ты уходи с мячом.

– А вы что, играли?

– Нет, мой отец играл, но мы, крымчаки, плохие футболисты, не рослые, не жестокие. Запомни, ты – крымчак, и только техника спасёт тебя.

– А при чём здесь национальность?

– Потом поймёшь... А вообще, самые лучшие футболисты – это англичане – я читал, у них характер бойцов,

и они играют хорошо головой, они большие, а мы – маленький народ, невысокий, хотя бывают исключения.

Крымчак чем-то обидел меня. Я пошёл на наш двор и стал ещё больше бить по стенке мячом, потом подвесил мяч за шнуровку к ветке дерева и старался достать головой и пробить по нему лбом... На завтра крымчак сам пришёл к нам на двор и позвал маму.

– Вот, Ольга, твоему сыну, знаю, что он играет в футбол, я нашёл дома старые, ещё отцовские... мокшаны... Они латаные-перелатаные, но он ещё поиграл, я набил ему настоящие шипы. Но скажи, чтобы не увлекался – это игра не для нас, крымчаков, мы – маленький народ...

Мать цвела в улыбке... Я слышал этот разговор из сада:

– ...Спасибо, спасибо, а то мой изодрал все ботинки, и в школу не в чем ходить...

Я тут же прибежал и вырвал у мамы из рук бутсы и стал напяливать их на ноги.

– Только не играй в них во дворе – разлетятся. Только на поле: или зелёном или песчаном, а так...

Мокшаны! У меня были настоящие мокшаны! Они отличались тем, что поверх кожи самой бутсы по бокам были накладные, выходящие из соединения кожаного верха и подошвы своеобразные кожанные ушки, которые при помощи шнурка стягивали ногу ещё больше, укрепляя подъём. Шипы были филигранно выточены маленькими пирамидками на фибровых прямоугольных пластинках. Я заглянул вовнутрь. Там была мягкая стелька, и когда надел бутсы, то не почувствовал подошвами ног ни бугорка, ни гвоздочка, даже загнутого. Я ликовал.

– Только не играй во дворе с пацанами – украдут, только на поле, иначе сотрешь кожу о камни, – сказал крымчак и ушёл со двора.

Для меня в тот день все сапожники стали самыми любимыми людьми.

– Он хороший, – сказала мама, – я знаю его с детства... Он когда-то ухаживал за мною...

Я ничего этого не услышал и побежал, конечно же, хвастаться... Все начали натягивать бутсы на свои ноги, и я понимал, что сейчас разорвут... Я забрал их и ушёл домой, долго ходил в них из комнаты в комнату, надев гетры и почти всю футбольную амуницию...

Я играл за младшую группу и когда пришёл на тренировку, то надел бутсы. Тренер посмотрел и сказал:

– Сними, ты же передавишь всех.

И действительно, бутсы были тогда редкостью, и мы играли в кедах. Только средние и старшие юноши – так их тогда делили по возрастам – играли в бутсах и даже тренировались. «После тренировки побьешь нашему вратарю...» Боже, какое же это было наслаждение! – удар шёл сильный и точный, нога сама по себе была целой крепостью и цепляла в сторону ворот любой мяч, которой раньше проходил мимо, да и бегать в шипах стало легче, а уж останавливаться или рвать вперёд... «Вот оно что, – думал я и снимал их, прятал в глубину сумки, заворачивая в тренировочную футболку. – Сколько ещё ждать? Год до средних юношей?» Но я решил сам тренироваться в бутсах, уходя за город на зелёные поляны, ставя камни как символических игроков, обводил их и бил, бил в пустое пространство и бежал за мячом, и опять бил и бил, и опять бежал вперёд, потому что не было конца этому древнему и свежему полю и моему счастью.

В ближайшее воскресенье наши средние юноши играли финал первенства города. Я пришёл, как всегда, смотреть игру прямо после тренировки. Сеял мерзкий дробный дождь, поле раскисло, и обе команды, как говорили мы, «месили говно», и особенно наш центрфорвард, от которого много зависело, но он играл в кедах. Бутс у него не было, порвались. В перерыве тренер подошёл ко мне:

– Послушай, а ты взял свои мокшаны?

– Да, они со мной, – не смог соврать я.

– Ну-ка давай сюда, команда горит,



*Александр Ткаченко с Туфаном Миннуллыным из Берлина в Потсдам по реке Шпрее*

а ты сидишь на золоте... если подойдуть...

– Нет, – сказал я, – он же порвёт их, растянёт...

– Не порвёт, не бойсь, один тайм, у него твой размер.

– Нет, ни за что, – сказал я, – бутсы никому не дам, они мне по ноге.

– Ты сначала играть научись, – сказал презрительно тренер. – И вся команда так же посмотрела на меня.

И я бросил на пол моё счастье. «Центр нападения» еле-еле натянул их на свои, как мне показалось, корявые ноги, радостно загикал, запрыгал и побежал на мокрое незелёное, гаревое поле...

Наши средние победили, и именно в моих бутсах этот Гунявый, как его все звали, забил два гола, причем силовые пробивал издалека...

– Вот так мокшаны, вот так бутсышки! – радовался он. – На, малый, не жадничай ради нашей победы. Они, правда, малость полезли, – отводя глаза, сказал он и бросил мне их, разбитые в пух и прах, развороченное как чёрт знает что...

Я сложил их в сумку, завернув, как всегда, в тренировочную футболку, и

побрёл один домой. Тренер бросил мне вдогонку:

– ...Вот видишь, спас команду, если бы не твои бутсы...

Я не слышал уже его, потому что слезы душили меня, и я шёл и плакал, и думал о том, что я – маленький, как сказал сапожник, и мне никогда не быть большим футболистом, что я – маленький крымчак, и что мы и народ – маленький, и что только англичане играют хорошо в футбол, и что сапожник ухаживал за моей мамой, и вот подарил мне старые бутсы, которые тут же развалились, что я – маленький, и что у меня можно всё отобрать и обидеть, бросив, как сплюнув, что сначала научись играть, что я – маленький ростом вообще и головой не дотянусь до мяча, если надо будет... Я шёл и рыдал, а солнце уже разорвало тучи и безразлично посматривало на меня, но потом изо всей силы ударило по моим наслезённым глазам, и я, вытерев сопли и слезы, встряхнулся, оглянулся вокруг, но увидел, что никому вокруг не было никакого дела до моей беды...

Люди шли навстречу мне и сквозь меня, и сзади меня и, чему-то улыбаясь, смеясь, иногда одобрительно подмигивали мне...

# В тени орехового дерева

1

34

Он исчез неожиданно. Ушёл из дома погулять, и пропал. Мы ждали до одиннадцати, затем всю ночь, но уже под утро позвонили в милицию. Там ответили что-то невразумительное. Врачи же сказали определенно:

– Гипертония, склероз, амнезия. Не нашёл дороги домой? Это бывает...

И всё. А что мы ещё можем в этом огромном городе?

– Давайте приметы, в чём был одет, кто у него друзья? Где живут?..

Я думал: отчего он ушёл из дома? Все мы – брошенные отцы и брошенные дети. Только вот почему? Ведь самые близкие, а уходим друг от друга навсегда. Мама беспрерывно плакала, но ума не могла приложить, куда он девался. Врачи, вероятно, правы... Я сел на ближайшую электричку и покатил, куда у неё «глаза» глядели. Затем вышел непонятно где и пошёл посреди темнеющего леса. В полной бессознанке. Отец исчез. Он всегда сидел по утрам на кухне, шуршал газетами, пил чай, смотрел в дождливое окно, наблюдая за прыгающими через лужи людьми, молчал, а я уходил по своим делам. Отец всегда был на месте, и это вселяло уверенность. Но я молчал. Вот и здесь. Тишина. Лес. И вдруг на дереве вырезано ножом:

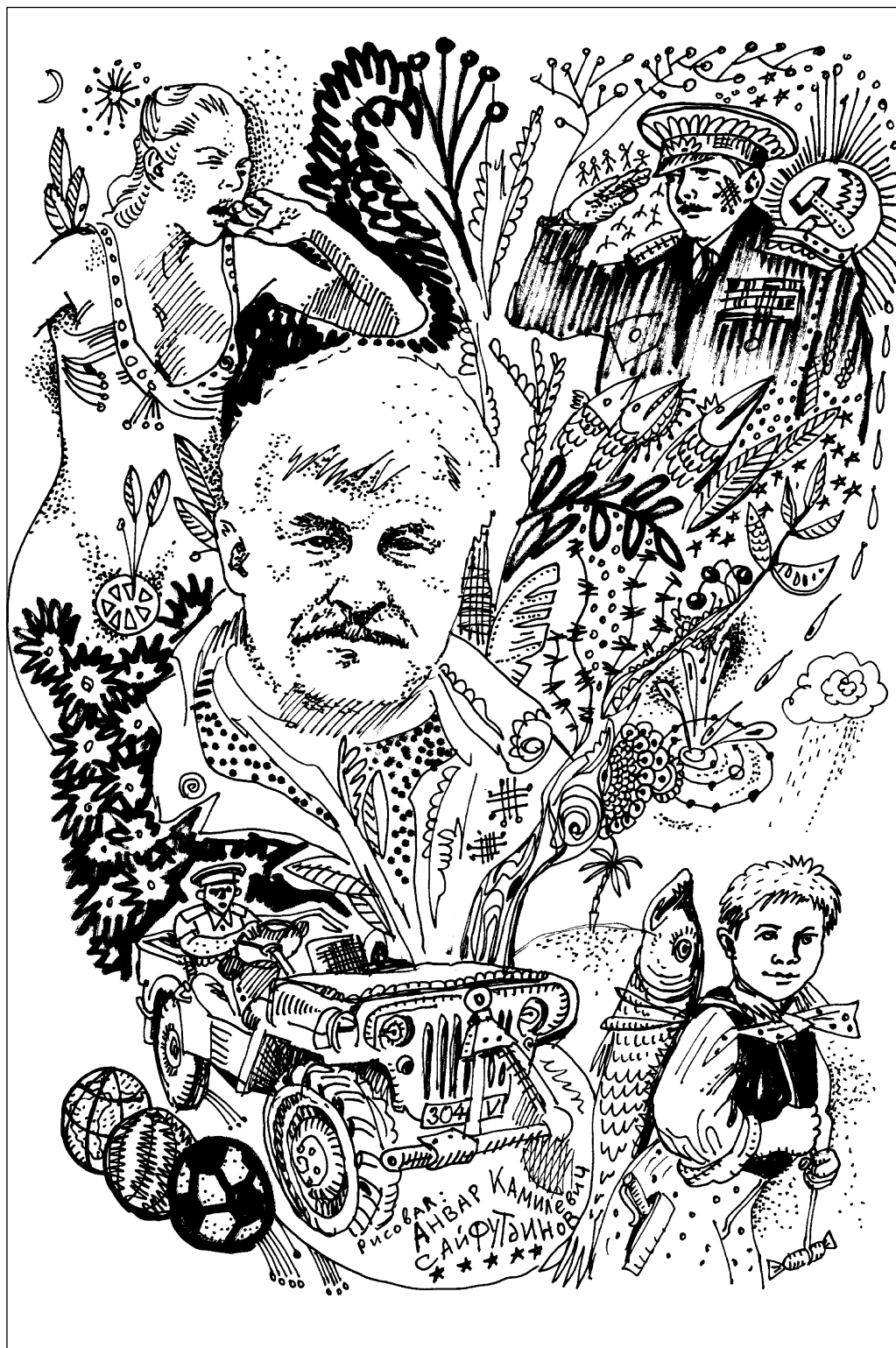
– Петя, Петюнчик, я ждала тебя, но ты не пришёл. Буду здесь во вторник в шесть...

Петя, Петюнчик... Петя, ведь так звали моего отца. Я узнал об этом из письма его друга, но дома его так никто не называл, даже мама. А, может, ему хотелось этого? Но я прочитал это тоненькое и ласкательное имя на дереве и подумал, что можно искать его даже и

здесь, ибо отца можно искать где угодно: в переулке, в подъездах, в морях, самолётах... Потому что его клетки повсюду, это он меня распространил, растиражировал – там, где я, там и он. Оглянись вокруг себя. Я оглянулся, но никого не нашёл. Отца не было нигде. Мои друзья, отпаивавшие меня виски и успокаивавшие между делом, говорили:

– Ну ушёл – и ушёл, значит, время пришло. Ну зачем он тебе? Ты уже вырос. Матери полегче станет, убирать за ним не нужно будет, ну чего ты, Вован, Вовчик, такова...

Да, вспомнил я, как он иногда варничал совсем невпопад словечки из жаргона пятидесятых-шестидесятых, иногда покрикивал на меня и тут же всплакивал и извинялся. Кем же он был? Как же почти за сорок лет я не попытался узнать его мысли, и вообще... Как же так: он знал обо мне всё, я о нём ничего. Я шёл по Садовому кольцу, передо мной двигалась толпа прыгающих, бегущих, спешащих и опаздывающих людей. Я шёл и сощуривал глаза, так чтобы видно было в диффузоре лучше. Я искал его сгорбленную в сером плаще фигуру и понимал, что это глупо. Почему на Садовом? Почему в толпе? Может, он лежит сейчас в море с биркой на ноге, как неизвестный, сбитый непознанной машиной? А? Это же целый мир смерти величиною в город и даже больше! А ты сразу – найти отца в такой толпище? С каждой минутой я всё больше чувствовал тоску по нему. Толстому, обвисшему, но каждое утро выбриту и вникающему в строчки газет, которые имели значение только для будущих политиков и деловаров. Но даже идеи, где его искать, у меня не было.



Вот так мы даже и не думаем, какой это становится бедой, когда вдруг случается – ушёл отец...

2

Потом пришли родственники. Они долго и грустно говорили, что ничего не понимают, о том, какой он был хороший, но дай Бог пожил, нужно похоронить...

Хоронить человека, который не умер, а просто ушёл и не вернулся... Это было что-то новое для моих неортодоксальных мозгов. Они попили водки, поговорили, но так и ушли без решения. Тем более что я твёрдо сказал им: пока не найду его – никаких похорон. Я ложился спать и думал, думал о том, куда же он мог уйти? Может, домой на родину? Под Царицын? Или к Чёрному морю, где всё начиналось, где он воевал и впервые встретил мать молодой? Ничего я не мог понять, а ещё больше: где же искать? Пойти по старым друзьям? Их почти не осталось. По бывшим возлюбленным? Это мне понравилось, и я начал вспоминать, что я знаю о женщинах отца. Оказалось, что и здесь почти ничего...

Старый дом, где мы обитали всей семьёй после войны и который так врезался в мою память. Там уже давно жили другие люди. Двор, казавшийся большим, скукожился. Сад стал маленьким и захолустным чаиром посреди центра города. В доме жили какие-то переселенцы, не пригласившие даже на чай. Раньше это была отдалённая улица. Одному в доме оставаться было страшно...

Это было как-то зимой, когда все ушли на работу. Я надел старое пальто и решил выйти на улицу. Было снежно и ветер валил прохожих с ног. Они двигались, опустив головы и придерживая шапки или платки от ветра. И вдруг я увидел, что из глубины улицы, из-за поворота, медленно вышла лошадь, погоняемая мужчиной в мешке, надетом на голову. А за ним на санях стоял красный с чёрной окантовкой простой гроб.

И это так соответствовало тому, что было вокруг. Боже, как же мы жили? И я испугался и, конечно, спрятался за наши ворота, наблюдая в щёлочку улицу. Но за гробом никто не шёл, и я понял, что это просто везли пустой для кого-то. От этого стало ещё жутче, и я скрылся в своей крепости. И вот я снова стоял у железной калитки из куска шпалы, вбетонированной в землю, и ничего не узнавал. Три тетки говорили со мной зло и напористо:

– Може, чего надо с документов показать? Так у нас есть всё...

– Да ничего мне не надо. Понимаете, я здесь жил, жил! Сейчас ищу отца.

– Отца он szukaить... Мало ли, что жил, – встрепенулась непородистая баба в глубине двора, – а таперича мы живимо и гарно...

– Я не по этому поводу... Я здесь жил, понимаете, всё своё детство... Вы меня понимаете?

– Все вы тут не позтому... Вот сейчас я тебя, – и она спустила собаку с цепи...

Я еле ускакал вдоль своей бывшей Тамбовской улицы, переходившей в Новосадовую с подъёмом. На нём я катался зимой на коньках, которые привязывались верёвками к ботинкам и назывались «петушками», потому что впереди полозков были вырезаны острые шишечки для врезания в лед и разгона. Лучшее всего было кататься с изогнутой проволокой в правой руке. Ею можно было зацепиться за борт грузовика и лихо промчатся, скрываясь за задним бортом, и, в момент отцепа, резко уйти в сторону, на тротуар... Эх, сейчас и снега-то такого нет... Тётки вот с собаками, да и только.

3

Отец сидел за деревянным столом, покрытым белой скатертью, отливающей по углам разводами синьки, под большим разносившимся орехом с большими пахнущими лимоном листьями. Перед отцом лежал наборный мун-

дштук со свежевставленной сигаретой «Памир», готовый для затяжек, словно торпеда для броска. Но отец всегда почему-то не спешил, видимо, растягивал это удовольствие перед затяжкой, приглядывался к нему, при этом чистя кусочком ваты женскую заколку для волос, выпрямленную для прочистки своего курительного орудия. Он каждое воскресенье брал у мамы с её небольшого столика с пудрой, помадой и всякими там щёточками и бутылочками, в которых я ничего не понимал, одну металлическую заколку, возился с ней, потом чистил, сгибал опять по форме буквы «Л» и клал на место, на что мама всегда неизменно говорила:

– Петя, всё равно от меня будет пахнуть никотином, и мои волосы тоже...

– Ничего, это же моим никотином...

И мать смеялась. И я ничего не боялся... Но иногда я боялся, когда между ними вспыхивал скандалчик в словах.

– Петя, ну тебе же нельзя так много работать! Вот где ты был вчера так поздно?

– В Первомайском районе...

– Знаю я эти первомайские районы, проверки...

– Ну и что ты хочешь этим сказать?

Ну, обычный семейный бред, но я как чуткий ребёнок улавливал за этим нечто большее. Никотин был чёрным и похож на масло, которым смазывался отцовский трофейный, стоявший в саду, немецкий восьмиместный «бьюик», отбитый чуть ли не у самого генерала Манштейна, командующего немецкими войсками в Крыму...

На столе стояла чашка горячего свежесваренного чая с кусочками айвы, и из неё извивался неимоверно утренний, пронизанный синициным писком аромат. Отец принюхивался к нему, отхлебывал чай и, наконец, подносил бензиновую зажигалку к сигарете и делал первую затяжку. Затем брал со стола снесённый ветром ещё не созревший сочно-зелёный грецкий орех и начинал разбивать его на половинке кирпича другой половинкой. От этого вскоре руки

у него чернели, и они не отмывались у него уже до конца лета... Жаркое плотное лето загоняло всех в прохладный дом, а отец подолгу сидел за столом в тени под орехом и о чем-то думал, постоянно занимая свои руки. Как-то я взглянул на него и подумал, старый он или молодой, но почему-то испугался спросить. Он был крепкий, невысокий, с яркими чёрными глазами, плавал как бывший военный матрос по несколько часов, приводя в ужас маму и всех нас, кто приезжал с нами в тяжёлом, с белыми шинами и открытым верхом, «бьюике», на море.

Рядом с нами за невысоким забором из ракушечника жил контр-адмирал. Настоящий. Действующий, со служебной черной «эмкой» и толстенькой женой, смешливой и безалаберной. Он носил усы, и я считал, что он грузин. У них была служанка, но по воскресеньям жена контр-адмирала-грузина ездила сама на рынок на чёрной сверкающей «эмке». Тогда она с утра кричала через забор и через весь двор:

– Петя, Пётр Матвеевич, я возьму вашего мальчика с собой, пусть покажется...

Отец кивал головой, мама не успевала возразить, и я нёсся к открытой пахнущей бензином и кожей чёрной адмиральской машине. Я устраивался на заднем сиденье, и когда мы приезжали на базар, то меня оставляли в машине. Водитель, бравший в охапку сумки, сетки и корзины, гордо выхаживал с толстенькой нашей соседкой, а я начинал, конечно же, метаться в накалывающейся жаре авто, открывая окна, нажимая иногда на басовитый сигнал и вертя всякие запрещённые ручки, которых вообще-то было мало... Наконец, хозяйка возвращалась с водителем, загруженным всякой летней крымской снедью, которая меня не интересовала. Меня завлекало огромное мороженое, которое приносила мне контр-адмиральша, и кулёк самых моих любимых шоколадных конфет и ещё мокрый кулёк с ранней черешней. Детей у адмирала и адмиральши не было, и она



часто брала меня с собой в какие-нибудь поездки. Потом-то я понял, что это было не просто так, потому что однажды мы поехали в лес на какой-то – она сказала тогда для меня новое слово «пикник», – и я был отослан ею купаться в горной речке один. Пройдя половину пути, я, вернувшись неожиданно за полотенцем, увидел, что контр-адмиральша и водитель почему-то забрались в скалистую щель далеко от нашего одеяла с едой и что-то там друг с другом делали, при этом охая и ахая. Моего возвращения не заметили, и я продолжал наблюдать всё это из-за густых деревьев. Меня это потрясло. Я впервые видел, как два человека терзали друг друга, душили, все время что-то выкрикивая. Я ничего не понимал, но понял, что было Это, потому что они были оба голые, но что Это именно так происходит, меня потрясло. Особенно адмиральша, она кричала такие уличные слова и требовала, чтобы водитель её раздолбал, задушил, укусил...

Мне стало страшно, и я убежал на речку. Когда я вернулся, то адмиральша была тиха и покорна, водитель спал на солнце, а я, потрясённый и подавленный, просто хотел есть. Меня трясло, и я сказал, что замёрз на речке. Адмиральша погрузила меня в своё пухлое тело, отчего я затрясся ещё больше.

– Ну, не бойся, малыш, сейчас я тебя накормлю.

И она действительно накормила меня всякой вкуснятиной, контр-адмиральской едой, и я по-настоящему разомлел, расслабился и уснул. Проснулся уже на подъезде к нашему дому.

4

Я жил тогда в своём отдельном мире, и всё, что увидел в лесу, тут же забыл и вообще воспринял по-детски – как некую игру, недоступную и ненужную мне. На что, собственно, и рассчитывали взрослые. Только иногда, когда адмирал и адмиральша приходили к

нам в гости, под наш разлапистый орех, и мы допоздна сидели – и взрослые, и дети, и собаки, и слушали, о чём говорили мужчины, то иногда я ловил взгляд адмиральши на моём отце – такой, какой я видел, когда она смотрела на молодого красавца – водителя «эмки». И мне становилось не по себе. Неужели... Но мать всё это легко переносила, отец тоже. И, наконец, однажды я услышал в комнате отца и матери обрывок фразы отца:

– Вот скажи, Оля, почему у всех генералов жёны такие дурочки?

Помню, что мать ответила:

– Петя, давай спать. А вообще, за таких жён думают генералы. Если по ночам им будут задавать ещё и умные вопросы, то у нас не будет армии, понял?..

Собственно, на этом вся эта линия для меня и закончилась, если бы однажды она не коснулась моего отца. И, конечно же, адмиральша здесь была ни при чём.

Однажды на нашем дворе появились четыре морских офицера. Это было как раз в воскресенье, когда отец ритуально чистил мундштук маминой железной шпилькой и пил свежий чай с айвой.

– Пётр Матвеевич, вам нужно проехать с нами, поговорить.

Я услышал, как заурчали две черных «эмки», незаметно подобравшиеся к нашему дому.

– Это зачем ещё? – недоуменно спросил отец.

– Там узнаете...

– Да, Петро, – это уже появился контр-адмирал, – надо потолковать.

– Ну, можем и здесь.

– Нет, это слишком серьезно.

Это был 52-й год.

– Отвезите... э... нет, в комендатуру, мы там потолкуем, я скоро приеду, – промышчал контр-адмирал.

И мы не видели отца полтора года. Как потом рассказывала мама, его привезли в отдельную камеру, и там сам контр-адмирал контрразведки допросил отца. Как он сказал – «...Потому что я знаю, что ты хороший парень и мы с

тобой были...» Он сказал «были» соседями, и мать особенно переживала из-за этого...

– Слушай, Петро, ты зачем вёл дневник всю войну, будучи командиром отряда, когда знал, что это было запрещено?

– Именно потому, что был командиром: сколько погибли, сколько осталось, продукты, ну и другое...

– Но ты же понимал, что это были стратегические данные...

– Какие стратегические данные? Мы голодали так, что было людоедство...

– И это мы читали у тебя, как люди ели своих мёртвых товарищей...

– Дмитрий Самойлович, но я был членом комитета обороны Севастополя, мне разрешил вести дневник наш председатель комитета Миронов...

– До него сейчас далеко, сам понимаешь. В твоей машине, немецкой, кстати, не мой водитель, а другие нашли его. И теперь вот есть на тебя письмо. Зная тебя, я думаю, как из этого выйти. Я должен знать всю правду.

– А она очень проста: мне нужно было вести учёт...

– Но тогда скажи, почему в твоём дневнике дата отправки партизан из Крыма совпадает не с предполагаемой, а с точной, немецкой?

– Потому что я её поставил именно в день, когда началась эвакуация, как только пришли из Новороссийска торпедные катера.

– Да и тут же ушли потом на сутки из-за артобстрела, а у тебя не совпадает, понимаешь...

– Хотел поставить, когда вернулся, но снимали ночью с мыса Ай-Тадор, нельзя было даже прикуривать. Записал только на следующий день... Да, у меня уже два ордена Красной Звезды к тому времени было, и ранение...

– Знаем, потому так и разговариваем с тобой, Петро... По крайней мере, я разговариваю... Это отголоски ленинградского дела. Помнишь?

– Помню...

– Так вот, кто-то под тебя серьёзно копает. К сожалению, у меня это дело

заберёт НКВД, там будет посложнее. Но я дам лучшие рекомендации.

Всё, иди. Учти: всё, что могу...

И отца увезли. Не домой, конечно...

## 5

В нашем доме поселились тишина, тревога и ожидание. На каждый стук мы все бежали к окнам, на звук моторов тоже. Мать часто выходила на крыльцо, чтобы словно нечаянно увидеть контр-адмирала и спросить об отце. Никаких чайных посиделок за столом под ореховым деревом уже не было. Мать пошла работать швейей. К нам редко заходили гости. Только примерно раз в месяц к нам стучалась жена контр-адмирала, когда его не было дома, и передавала маме огромный свёрток с продуктами. Мама целовала ей руки, благодарила – ещё бы, ей нужно было кормить троих детей. Потом контр-адмирал съехал с этой, как потом оказалось, конспиративной квартиры, и в доме воцарилась тишина. Но контр-адмиральша иногда появлялась в нём, приезжая с водителем. Они запросто входили туда и закрывались на несколько часов. Однажды я перелез через забор и, будучи знакомым с устройством наших почти одинаковых домов, знал, где, в какие щели и куда можно было подсмотреть. В один из таких приездов я удобно устроился и наблюдал уже как взрослеющий мальчик всё, что делали друг с другом адмиральша и молодой здоровенный водитель «эмки». После адмиральша обязательно заходила к маме, они о чём-то долго шептались, и мать после её ухода долго разбирала целый мешок всего, где были даже и какие-то вещи для меня. «Бьюик» медленно вращался в землю, шины его спустили. Приходили какие-то покупатели, но мать резко отказывала: вот хозяин вернётся – тогда поговорите.

– А где он? – спрашивали. Мать опускала глаза. – Сами знаете.

– О, тогда не скоро, аппарат сгниёт.

– Не сгниёт, а если сгниёт, так чёрт с ним, всё равно немецкий...

Мать ходила по всяким начальственным кабинетам, где ей ничего толкового не говорили. Единственное, что ей удалось выведать от старых друзей, – что находится он на территории Крыма. Но в какой тюрьме или лагере – никто не знал...

Так время шло, прошла зима, и в марте 53-го умер Сталин. Сначала все были в оцепенении: кто от горя, кто от тайной радости. Но что делать, никто не знал. Особенно у нас, в провинции. Мать совершила очередной круг своих посещений, но никаких результатов это не принесло. Все только и говорили: Сталин умер, но мы от этого стали сильнее. Но всё-таки что-то начало меняться. Особенно в душах людей. Даже наш бывший сосед контр-адмирал где-то в мае неожиданно приехал со своей контр-адмиральшей на пустующую квартиру. Зачем, конечно, не знаю. Но он тут же оказался на нашей стороне, перемахнув по-юношески через наш общий забор, хотя ему было далеко за шестьдесят. Мама уже стояла на крыльце. И он со свойственной ему скупостью и строгостью сказал:

– Умер Иосиф Виссарионович, большое горе. Но, я думаю, что скоро твой Петро будет дома.

И тут же уехал, сопровождаемый лаем нашего дворового Жулика. Контр-адмирал, конечно же, был закоренелым сталинистом, но по-своему любил отца. Что было с мамой после его слов – можно себе представить.

6

Стояло томное, немисливо жаркое лето. Лужа у крана с водой во дворе – моё море для моих маленьких корабликов – усохло почти до основания колонки. Мы часто с мамой ложились спать в саду под яблоней, и ночью, иногда просыпаясь, я видел чёрное заспанное небо с набросанными как попало яркими камешками звёзд. Я только мог

разглядеть Ковш и созвездие Стрельца, и то после того, как мне это показал отец. От жары я спал долго, и по утрам первым же взглядом смотрел на стол под орехом. Но там каждое утро было пусто. Но вот однажды – это было примерно в конце июля – я посмотрел под орех и увидел, что за столом сидел отец и чистил мундштук железной заколкой мамы, а перед ним стояла чашка с чаем.

– А, проснулся, сынок! Ну жми-дави сюда, ко мне.

Отец был, как всегда, гладко выбрит, на нём была свежая с распущенным галстуком рубашка. Но он сильно осунулся, похудел, был пострижен почти наголо, и в глазах не было прежнего напористого ярко-чёрного блеска.

– Ты когда приехал?

– Ночью.

– И почему не разбудил меня?

– Зачем? Ты так хорошо спал, мы с мамой любовались тобой, какой ты стал взрослый и красивый. Ты что-то бормотал во сне. С кем говорил, признавайся?

– Не помню...

Мать вышла из дома, она вся летела, светилась...

– Давай, сынок, сейчас все придут, а ты пока попей молочка...

Потом пришли бабушка, тётя, два друга отца, друзья сестры и брата. Отец молчал, ничего не рассказывал при всех, и только, когда все разбрелись по двору и саду, стал что-то тихо рассказывать взрослым. Мама сидела с ним в обнимку и каждый раз трогала его руки и гладила по плечам и голове... Бедный, бедный мой отец... Я смотрел на него, и для меня было всё равно, кем он был и что делал. Главное, что я знал, – это был мой отец, на руках которого или на закорках я засыпал, когда мы поздним вечером все вместе возвращались домой, засыпал мгновенно и легко, потому что чувствовал его силу, тепло тела. Однажды он разбудил меня и спросил:

– Слушай, а что это трёт мне спину? Что у тебя под рубашкой?

Я вскочил на ноги и достал серебряную с позолотой чайную ложку, которую я стянул со стола в гостях. Меня она так заворожила, что я не мог удержаться. Отец смеялся и говорил маме:

– Отнеси завтра Либерзонам, а то ещё будут искать по всему дому...

У меня был тогда такой бзик, и мать, вечно раздевая меня сонного, доставала из-за пазухи то ложечку для варенья, то щипчики для колки сахара... Главное, что всё это сверкало и казалось золотом. Мама ругала меня, а отец смеялся и говорил примерно такое:

– Ребёнок любит красоту и тянется к ней бессознательно. Это скоро пройдёт, к сожалению...

Как-то утром ему принесли большой синий с двумя или тремя штампами конверт. Он немедленно вскрыл его, прочитал что-то и сказал маме:

– Так, Оля, быстро рубашку, галстук. Я уже бреюсь. Чай не буду... Вызываю...

Через несколько недель отец пошёл работать. Жизнь в нашем доме вошла в привычную колею. Контр-адмирал и его жена не приезжали. И даже контр-адмиральша с водителем не приезжала. Но однажды, наконец, случилось то, что во второй раз потрясло меня. Как-то осенью, тёплой южной осенью, утром я услышал шум нарастающего мотора «эмки». Я хорошо уже тогда различал звуки мотора «газона», полупорки, ЗИСа, немецких трофейных, и, конечно же, сразу уловил легкий дробный урчащий звук приближающейся к нашему дому «эмки». Сразу испугался. Но потом понял, что это была машина наших военных соседей. Я выглянул в окно и увидел, что в соседский – для меня таинственный – дом вошла контр-адмиральша, и сразу за нею с сумками, полными еды и бутылок, водитель контр-адмирала. Вскоре я услышал уже нарастающие звуки двух «эмок», затем скрип тормозов, и вот уже человек шесть военно-морских офицеров стояли по всему контр-адмираль-

кому двору и чего-то ждали. Во двор вошёл контр-адмирал и прямо пошёл к двери дома. Откуда-то появился офицер с топориком и легко взломал дверь. Затем контр-адмирал вошёл один в квартиру. Минут через пять-десять раздался какой-то резкий не то шлепок, не то хлопок...

– Всё, он застрелил её, – сказала мама.

– Нет, он убил своего водителя, – сказал отец... – Так, никому из дома не выходить, – скомандовал он.

И мы притихли, не отходя от окон. И увидели, что в дом вошли офицеры, и из него вывели под руки контр-адмиральшу, а затем водителя, покорного, с опущенной головой.

– Господи, – сказала мама, – да он застрелился.

– Кто? – протянула сестра.

– Да Дмитрий Самойлович. – Впервые мать назвала контр-адмирала по имени и отчеству. – Из-за этой сучки...

Я впервые услышал от матери такое слово.

– Так, тихо, мать, тихо, – сказал отец.

Откуда-то появились носилки, и, наконец, с трудом офицеры стали выносить из дома что-то тяжёлое, покрытое полностью простынёй. Это было тело контр-адмирала. Наконец, всё смолкло и растворилось. Я слышал, что «эмки», а я уже насчитал их три, не уезжали. Вдруг к нам в дом постучали.

– Петр Матвеевич, можно вас на минуту? – Это один из офицеров позвал отца.

И отец – я видел в окно – довольно долго разговаривал с морским офицером. Затем все три насчитанные мной «эмки» одновременно взвыли и, перейдя на рабочий ход, начали разворачиваться и затем стихли совсем в стороне Севастопольского шоссе. Отец вошёл в дом и негромко сказал:

– Оля, дети, вы ничего не видели и ничего не слышали! И никогда даже не говорите об этом, запомнили?

Ответом было молчание.

Но об этой истории на нашей улице Тамбовской судачили много. Начиная от пацанов, кончая хозяйками особнячков и тех, кто снимал во дворах времянки. Но в нашей семье об этом не говорили. А вскоре мы съехали на квартиру по новому адресу, и жизнь пошла по другим направляющим. А я вообще своим детским разумом забыл это почти мгновенно – жизнь шла вперёд, и наша семья двигалась вместе с нею в пространстве и времени. Лишь иногда я находил где-то в закоулках моей памяти цветные картинки с чёрной «эмкой», контр-адмиральшей и, конечно, чаще всего то, что я увидел впервые на пикнике, и потом в подсмотренных щелях похожую на борьбу физическую страсть тайных любовников. Только сейчас, когда отец ушёл из дома, всё это вернулось ко мне с такой силой, словно я хотел оживить всех участников тех событий и этим вернуть домой отца. Но найти его в этом отсеке времени я не смог, и я пошёл по моему родному городу, заходя в книжные магазины, где работали продавцы, помнящие отца, когда он был директором книготорга. Они узнавали меня, говорили, как я похож на отца. А я только и спрашивал:

– А вы его не видели? Или: вы его давно видели?

И мне отвечали:

– Да как же, вот совсем недавно, лет тридцать назад был здесь, заходил, что-то спрашивал.

Другие говорили:

– Да-да, вот только что, лет сорок назад, стоял здесь, говорил, что собирается в Ялту, хотел тебя взять с собой...

И действительно, отец хотел взять меня в Ялту... И мы поехали с ним на его «бьюике», он был в жёлтой соломенной шляпе, в чесучевом костюме и, как всегда, в ярком, в цветную диагональную полоску галстук, повязанном на выглаженной мамой белую рубашку. На газ он давил белой парусиновой туфлей, и вообще всё было белым-бе-

лым, потому что стояла крымская весна в разгаре, и домики и деревья по пояс были покрашены извёсткой... Мы пробирались по узкой шоссейной дороге, машин было много, но не так, как летом.

О чём говорили – не помню. Помню только, что у меня было ощущение полного счастья. Я вспоминал, что мама, моя красивая мама осталась дома с моими старшими братом и сестрой, а я с отцом вот путешествую. И меня окрыляла такая сила и радость! И то, что отца все любили, и то, что он ехал по делу, очень важному, и взял меня с собой. Тогда до Ялты по старой дороге ехать было на легковой машине три – три с половиной часа, а на грузовой – и все шесть... Наконец, мы добрались до Ялты. За это время я устал от кручёной дороги, захотел спать, и отец оставил машину и уложил меня на задних сиденьях, укрыв своим пиджаком. В Ялте, оставив машину недалеко от набережной, мы пошли по его делам. Он заходил в каждый магазин, о чём-то говорил со всеми продавцами книг, рассматривал вновь поступившие. Одним словом, мне было скучно, и отец, увидев это, попросил одну из продавщиц погулять со мной по городу, показать кое-что.

– Ну так, часиков до шести, – сказал он и, достав из кармана деньги, добавил, – а это на мороженое и если захочет есть.

Ялта мне тогда казалась большой, роскошной, хотя она тогда была бедной и маленькой – набережная и спускающиеся к ней с гор улицы. По набережной гуляли люди, вероятно, отдыхающие, и я ещё подумал: что за отдых – гулять. В моем представлении отдых – это было лежать в постели, а вокруг тебя крутились бы врачи и медсёстры. А потом тебя бы возили на обед и ужин. Но нет, эти отдыхающие степенно ходили, осматривая друг друга, потом останавливались у какого-нибудь ларька, пили вино. У них на глазах из больших деревянных бочек выбивали клеп, вставляли внутрь высокую трубку

с насосом и начинали качать оттуда пиво. Сразу образовывалась очередь, в которой всё время кто-то повторял:

– Хорошо, свеженького подвезли...

Мне всё это было непонятно, и моя временная наставница сказала:

– Пойдем чуть вверх, я покажу тебе Ялту сверху, и ещё старый город. Нечего тут нам шляться среди биндюжников и приезжих...

И мы пошли вверх, в сторону, как я потом уже узнал, Аутки, туда, где был домик Чехова. Так, стоп. Всё я это видел потом сотни раз, и, в принципе только в первый раз было интересно. Вообще, ровно в шесть с моей сопровождающей я был рядом с отцом.

– Ну, как он себя вёл? Он съел что-нибудь?

– Да-да, – заверещала девица лет восемнадцати, – и пельмени, и сок виноградный, и мороженое, Пётр Матвеевич

– Ну и хорошо, спасибо, а то нам ещё домой ехать.

– Ура, – подумал я, – домой, к моим корабликам и машинкам, к моему псу Жулику и пацанам с нашей улицы, с которыми мы играли во всякие игры, но больше всего в войну. – Но отец вдруг сказал: мы заедем ещё в одни гости, а потом уже домой.

И мы поехали. Дорога была извилистой и почти пустой. На ней было много камней и сорвавшихся с вершин деревьев корявых и сухих веток. Отец правил осторожно, и мы забирались всё выше и выше в сторону Ай-Петри. Наконец, впереди в тени горы я увидел небольшой, прямо словно приклеенный к основанию скалистого подножия Ай-Петри домик. В нём горел свет. Когда мы подъехали, то ворота были открыты, и отец ловко вписался в довольно узкое пространство двора. Затем он подошёл к двери и постучал. Из дома вышла красивая женщина, обняла отца, и я услышал:

– Ты приехал, мой Петенька, Петушок...

Весь вечер мы ужинали. Мне давали всё – и горькое, и сладкое. Отец пил

вино с женщиной, которая мне нравилась, но я начинал её ненавидеть, потому что ревновал – чего это она так запросто с отцом: Петушок... Из смутных разговоров я понял только, что они вместе воевали, и она жила всегда здесь. «Разведчица, – подумал я, – и раз воевали, значит, это фронтовые друзья, как сам отец называл многих из своих друзей» Моё детское ревнивое сердце успокоилось. И в моей памяти промелькнула картинка, как мы с отцом и мамой поехали в такое красивое и далекое место на берегу моря с ещё более загадочным и прекрасным названием Коктебель. Ехали мы долго на трофейном «бьюике», отец останавливал несколько раз машину; было жарко, он заливал воду, подкачивал колеса. Наконец, мы приехали к воротам, на которых было написано: «Винзавод «Новый свет». Отец посигналил – и ворота открылись. Внутри стоял крепкий, высокого роста мужчина в белых парусиновых одеждах и туфлях и шумно приветствовал наш приезд:

– Ну наконец-то, Петро, Оля, наконец-то! Всё уже стынет, но мы пройдемся по заводу всё равно... Как ты вырос, – сказал мужчина и подхватил меня на руки. – Сейчас мы тебя угостим шампанским, молочком...

Это был директор завода Македонский, тоже из фронтовых. Вернее, партизанских фронтовых, ибо потом я понял, что это были особенные фронтовые. И мы пошли вдоль каких-то скал, в которые были вделаны огромные бочки с большими кранами в самом низу. У одной из них мы остановились, и Македонский стал медленно наливать в большие бокалы нечто желтоватое и пенистое, но чистое-чистое, и все пробовали, пробовали... Конечно, попробовать давали и мне. Македонский спросил у меня:

– Ну что, кислое? Молодое, как ты... Так надо, из этого мы делаем настоящее шампанское... Ну а теперь – за стол! С дороги, небось, проголодались.

И они в обнимку с отцом пошли к столу, на котором было столько всего, что у меня разбежались глаза. И сто-

яли уже настоящие большие зелёные бутылки с вином, курчавился виноград и дымилось жареное мясо. Они гуляли, пили, ели, что-то всё время вспоминали, и стол их всё ширился и ширился от людей, которые знали друг друга и приветствовали отца и, конечно, маму. А что, после войны они чувствовали себя хозяевами и победителями и, самое главное, были таковыми. Ночевали в каком-то домике на постелях, пахнущих степными травами, морем и прохладным горным воздухом. Для меня было тогда загадкой, что же между ними всеми было, что они сделали вместе, что так были преданы друг другу. Вот и сейчас я сидел за столом между отцом и чужой, но очень красивой женщиной, слушал их разговор и тоже думал об этом. И то, что красивая женщина была не мамой, меня не смущало. Просто потаённая ревность пощипывала меня: я ревновал тогда отца ко всем и всему чужому. А здесь... ну, фронтовые друзья, она была разведчицей...

Потом меня уложили спать в другой комнате, и, когда я проснулся, отец сказал

– Я не хотел тебя будить, нам пора уже ехать. Сейчас, только накормим тебя.

Слово «накормим» опять резануло меня, кто это «накормит»... В комнату вошла женщина, сказав:

– Ну, мальчик, вставай, я буду тебя кормить. Как же ты похож на папу!

У меня вырвалось:

– На маму!..

Но мне сказали:

– Ну, конечно же, и на маму тоже...

И мы уехали...

Я снова поднимался вверх в сторону Ай-Петри и видел вдалеке перед собой всё тот же домик. Когда я постучал в дверь, вышла всё та же женщина и, увидев меня, вскрикнула:

– Что с Петром? Что случилось с Петюничком? – Я сел на диван и выдохнул:

– Он ушёл из дома, пропал, понимаете, исчез... И нигде его нет. Сидел,

читал газету каждое утро, пил чай, курил, а потом исчез... Мы не знаем, что делать.

– И что, ты пришёл ко мне искать его? У меня бы он не пропал, – как-то зло сказала она. – Запомни: отца нужно видеть дома. Что-то произошло не с ним, а с тобой, со всеми нами... Возвращайся. Такие люди, как твой отец, далеко не уходят.

8

Москва обдала меня июльским перегаром пробок, курских, казанских, павелецких бомжей, перепудренных уличных проституток и абсолютной безразличностью к происходящему. А ничего вроде и не происходило. Всё самое страшное было внутри. Где-то на светофорах со скрежетом еле-еле расходились поезда, самолёты, тяжело пробивая смог, всё же взлетали. «Скорые» стояли в заторах в ожидании проезда машин с мигалками. Всё было привычно и слаженно: нищие просили, богатые кутили, где-то в шестичасовой сизой тишине тихо позванивал колокол одной из церквей. И где-то стоял или шёл, а может быть, сидел или лежал мой отец. Я позвонил домой. Мама сказала, что он не возвращался, и повесила трубку. Я поймал левака и стал пробиваться сквозь металлических крыс города к своему дому. Да что же получается – отца нигде не было. Все на месте, на своих часах, а он... Когда я вообще с ним в последний раз разговаривал? Я вспоминал и не мог вспомнить. Когда я вообще его видел в последний раз? Я представлял себе и не мог представить... Однажды он хотел подойти ко мне на улице, когда я шёл с парнями, и я постеснялся его, быстро сказав, что мы спешим. А дома было уже поздно.

Однажды я слышал, что он о чём-то спросил мать. А та ничего не ответила ему. Однажды я видел, как от увиденного на экране телевизора нечто сентиментального, на его глазах появились слёзы. А я даже не спросил, что это было, и переключил программу...

Ну и что, ерунда какая, всю жизнь вместе, так у всех – люди притираются друг к другу, не замечают...

Я вошёл в коридор, открыл дверь своим ключом, и тут же посмотрел через открытую дверь на кухню. Оттуда донеслось шуршание газеты.

– Папа, ты? Где ты был?

Отец выглянул из-за раскрытых «Известий»:

– Как где? Нигде. Я всё время сижу здесь.

– Не может быть, я искал тебя повсюду, я был... – И хотел перечислять, через что я прошёл за эти несколько дней. Но отец отрубил:

– Я всё время был здесь, а если ты не чувствуешь и не понимаешь, что и где в твоём же доме... Я никуда не уходил.

Я сел напротив отца и впервые за многие годы посмотрел в его глаза. Он смотрел на меня не зло, но отстранённо. Я пытался найти те признаки яркого блеска, обращённого ко мне, когда мы давным-давно сидели с ним под орехом. Но не находил.

– Папа, что случилось?

– Это я тебя могу спросить: что случилось?

– Но я искал тебя почти две недели.

– Ты не замечал меня. Я был всё время здесь.

– Но этого не может быть! Мы обзвонили все больницы и морги. Все вокзалы я обходил, был всюду, где мог быть ты, а ты...

– А я был здесь, я никуда не уходил, просто ты меня не замечал, понимаешь? И надо было не морги и больницы обзванивать, а повнимательней посмотреть вокруг себя, стать другим. И знаешь, когда ты изменишься? Когда твой любимый сын перестанет замечать тебя, и ты уйдёшь, как я, хотя на самом деле я никуда не уходил, посмотри внимательней...

Я посмотрел, глубоко вглядываясь туда, где я видел его в последний раз. И увидел, что за столом в тени орехового дерева сидит отец. И чистит железной шпилькой наборный мундштук, прихлёбывая чай с нарезанной кусочками айвой и смотрит прямо на меня.

